

Д. И. ЭДЕЛЬМАН

К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ИРАНско-ЕВРОПЕЙСКИХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ИЗОГЛОСС

(Studia Iranica et Alanica. Rome. 1998)

Исследование разноуровневых изоглосс, объединяющих, с одной стороны, скифский и, соответственно, осетинский, а также другие иранские языки, с другой стороны, – индоевропейские языки Европы, начатое В. И. Абаевым и проводимое им на большом фактическом материале в ряде трудов (особенно в монографии “Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада”, М., 1965), открыло собой особое направление в индоевропеистике. Обнаружение В. И. Абаевым таких изоглосс на фонетическом, морфологическом, лексическом уровнях (включая словообразование), анализ причин их возникновения заставили по-новому взглянуть на целый ряд процессов в истории различных индоевропейских языков Азии и Европы.

Работы последних лет, изданные после 1965 г., выявили еще целый ряд изоглосс, объединяющих те или иные из иранских языков с различными языками Европы. Эти изоглоссы и их причинно-следственные связи также требуют своего осмысления. В предлагаемой статье нет возможности охватить их все (примеры изоглосс разного уровня см. в: [ЭДЕЛЬМАН, 1989]), поэтому рассмотрим лишь некоторые из них, а именно – те, которые относятся к морфологическому (и частично к синтаксическому) уровню и которые могут представить интерес с точки зрения причин, порождавших сходные процессы и явления в разных ареалах индоевропейских языков.

Общие грамматические характеристики, которые служат базой для соответствующих иранско-европейских изоглосс, появляются под влиянием разных причин и в различные периоды существования этих языков. В соответствии с порождающими их причинами, рассматриваемые здесь грамматические характеристики и соответствующие им изоглоссы можно разделить условно на три основные группы.

Первая группа таких характеристик обязана своим происхождением определенным свойствам праиндоевропейской грамматической системы.

Несмотря на то, что сами по себе эти черты в данных языках являются инновационными и что некоторые из них могут присутствовать не во всех языках и того, и другого ареала (т.е. не во всех иранских языках и не во всех индоевропейских языках Европы), их появление как бы “генетически запрограммировано” общим для разных индоевропейских языков “первотолчком”, имевшим место значительно ранее, еще в период существования индоевропейского праязыка.

Так, в развитии системы глагола в подавляющем большинстве иранских языков наблюдается общая закономерность: в них к исходу древнеиранского периода постепенно сворачивается древняя оппозиция флективных форм презенса – аориста – перфекта и вырабатывается система “перфектных” (т.е. результативных по значению) аналитических конструкций с причастиями на **-ta* (реже – на **-na* и совсем редко – на **-ца*). Впоследствии из этих конструкций – при утрате ими значения результативности – вырабатываются инновационные формы прошедшего времени, или претерита, противопоставленные формам настоящего времени, продолжающим в основном флективные формы древнего презенса. При этом данные результативные конструкции строятся первоначально различно для непереходных и переходных глаголов: для первых – согласно модели **ažám čjuta-ahmi* “я пошедший есмь”, для вторых – согласно модели, наблюдаемой в древнеперсидском: **ima... mana // mai kartam (asti)* “это... у меня (или: мною) сделано (или: сделанное) (есть)”. В первой – “непереходной” – конструкции субъект был выражен именем в номинативе, а причастие и связка согласовывались с субъектом (связка – в лице и числе, причастие – в роде, числе и падеже – номинативе). Во второй – “переходной” – конструкции субъект был выражен именем в генитиве (в восточном ареале также в инструменталисе), либо энклитическим местоимением в соответствующей форме, объект – именем в номинативе, а причастие и связка согласовывались с объектом (впоследствии из переходных конструкций, которые явились пассивно-посессивными по принципу своего построения, развились так называемые “эргативные”, или “эргативообразные”, построения, наложившие глубокий отпечаток на весь морфологический строй большинства иранских языков, равно как и индоарийских, имевших аналогичные построения).

При этом само различие древних переходных и непереходных конструкций имело причиной определенную залоговую характеристику данных причастий: они были обычно активными у непереходных глаголов и обычно пассивными у переходных [АБАЕВ, 1949, 570-571]. А построение конструкций с переходными глаголами по типу пассивно-посессивных оборотов давало возможность выразить тем самым результат активного

действия, т.е. было способом преодолеть пассивность причастия. Субъект такой конструкции, выраженный именем в косвенном падеже или энклитикой, предстает в понятийном плане как посессор, т.е. обладатель результата действия (ср. аналогичные построения в русском просторечии и в говорах: “у меня [уже] платье выстирано”, “у меня обед приготовлен” – с выражением результативности через посессивное построение). Сходные построения характерны для истории армянского и индоарийских языков (в последних, как и в части восточноиранских, в качестве падежа субъекта выступает не генитив, а инструменталис, что еще больше подчеркивает пассивность самого причастия).

Построение посессивных конструкций по моделям “у меня это есть” (в именных сочетаниях) и “у меня это сделано//сделанное есть” (в глагольных сочетаниях) было объяснено еще Э. Бенвенистом как результат отсутствия в иранских языках того периода (как и во многих других языках мира) глагола с абстрактным значением “иметь”, см. [БЕНВЕНИСТ, 1974, 217 и сл.]. При этом в отдельных иранских языках – в “литературной” норме согдийского и в хорезмийском, – где результативные конструкции с причастием на *-*ta* грамматикализовались относительно поздно, когда существовала уже относительно стандартизованная литературная норма и когда глагол “иметь” (на базе древнего **dar-* “держат; схватывать”) уже выработался, возобладало построение переходных конструкций по модели “я это сделанным имею” (распространившееся затем в хорезмийском и отчасти в согдийском и на непереходные глаголы; в последнем – под воздействием определенных семантических причин, см. подробнее [ЭДЕЛЬМАН, 1990, 138-140]).

Таким образом, выработка новых результативных конструкций (и затем – с утратой ими значения результативности – образование на их базе претеритальных форм) происходила по разным моделям для переходных и непереходных глаголов. Для непереходных это были сочетания причастия со связкой, для переходных – посессивные конструкции.

Этот процесс протекал в разных иранских (а также индоарийских и армянском) языках в целом единообразно, параллельно и независимо друг от друга. Параллельно ему развивался аналогичный процесс в индоевропейских языках Европы – романских, германских (с построением здесь переходной посессивной конструкции по модели “я имею сделанным”), в русских говорах (где обороты типа “у меня [есть] сделано // сделанное” так и не стали новыми глагольными формами, которые вошли бы в парадигму). При этом параллелизм процессов – “иранского” и “германского” типа – наблюдается не только в развитии причастных конструкций и не только в их первоначальном различии для переходных и не-

переходных глаголов, но и в том способе, которым преодолевалось пассивное значение причастия в построениях с переходными глаголами: в образовании этими причастиями посессивных конструкций.

Посессивные древние конструкции “иранского” типа, построенные (за отсутствием глагола “иметь”) по связочному типу, т.е. именная конструкция “у меня это есть” и глагольная “у меня это сделано // сделанное есть”, – были в понятийном плане аналогичны соответствующим построениям в романских и германских языках (и поздним построениям в единичных литературных иранских языках, см. выше), организованным по моделям: именной “я это имею” и глагольной “я это сделанным имею” (ср. немецкое: *ich habe gemacht* “я сделал” из “я имею сделанным”). Подробнее об этих конструкциях и о становлении новых форм перфекта и претерита в иранских языках имеется большая литература (см. [БЕНВЕНИСТ, 1974, 192-224; КАУФМАН, 1956, 492-495; ПИРЕЙКО, 1968; ПИРЕЙКО, 1979; ЭДЕЛЬМАН, 1974, 24-25; 1990, 70-72, 103 и сл.; ОИТИИЯ, II, 258-261, 318 и др.]).

Сама же причина появления и последующего развития причастных конструкций со значением результативности, перфективности в разных индоевропейских языках уходит корнями в индоевропейское состояние. Развитие таких конструкций было порождено процессом, начавшимся в диалектах общеиндоевропейского языка: постепенным ослаблением содержания раннеиндоевропейской оппозиции “перфект – неперфект” (или, в другой нотации – “перфект – инфект”) и ослаблением особого значения состояния у древнего перфекта (когда это значение стало выражаться, помимо перфекта, медиальными формами презенса и аориста); возможно, сыграло роль и ослабление у древнего перфекта значения результативности как причины состояния.

К этой же группе общих иранско-европейских черт относятся отмеченные В. И. Абаевым [АБАЕВ, 1965а, 75-79] закономерности “сворачивания” древней иранской именной падежной парадигмы, которые выразились в относительно ранней утрате противопоставления “генитив – датив”. Это наблюдается уже в древнеперсидском языке, а также в памятниках вымерших иранских языков с еще относительно богатой именной парадигмой: в хотано-сакском [ЕММЕРИСК, 1968, 249-250] и раннем согдийском [ЛИВШИЦ, ХРОМОВ, 1981, 422]. Аналогичная утрата наблюдается в индоарийских языках недревнего периода, в армянском, а с другой стороны, – в языках Балканского союза [АБАЕВ, 1965а, 75 и сл.; SCHALLER, 1975, 134-138]. Характерно, что в иранских языках процесс исчезновения этой оппозиции происходил за счет расширения функций генитива, т.е. генитив “поглощал” древний датив. Это естественно, учитывая разра-

стание функций генитива и превращение его в ряде языков в общекосвенный падеж, особенно усилившееся в связи с его употребительностью в функции падежа субъекта причастных конструкций и форм с переходными глаголами (см. выше). Однако самый факт совпадения генитива именно с дативом, а не с другим падежом, имеет общую для всех этих языков и весьма древнюю причину: и генитив, и датив употреблялись в древних индоевропейских языках в сходных функциях – в посессивных оборотах [БЕНВЕНИСТ, 1974, 213]. Обороты с этими падежами имели несколько различные оттенки значения (в зафиксированных примерах генитив чаще обозначал собственно принадлежность, датив – предназначенность), однако в целом они были сходны, а оппозиция нюансов, возможно, постепенно утрачивалась (ср. выражение предназначенности уже единым генитивом в древнеперсидском: ...šiyātim adā martiyahyā [DSc, 2-3] “...счастье создал для человека [ген.]”).

К этому же разряду изоглосс относятся, с одной стороны, постпозитивные артикли с комплексом значений в отдельных иранских языках, с другой, – постпозитивные определенные артикли в языках Балканского союза [SCHALLER, 1975, 143-148]. В иранском мире это показатель выделительности, неопределенности, единичности, появившийся в среднеперсидском языке в виде постпозитивного *-ē*, *-ēv* и продолжившийся затем в классическом персидском (*-ē*), современном персидском (*-i*), таджикском (*-e*), дари (*-ē*) с тем же комплексом значений. Его появление было вызвано совпадением в среднеперсидском *-ēv*, *-ē* рефлексов общеиранского относительного местоимения **ia-* “который” с рефлексами числительного **aiṣa-* “один” и указательного местоимения **ai- : i-* “этот” или составного **aiṣa-* “тот”, “так” (ср. ав. *aēva* “так”, др.-инд. *evá id.*).

Тяготение относительного местоимения **ia-* то к препозитивному, то к постпозитивному положению по отношению к имени в древнеиранскую эпоху обусловило впоследствии закрепление его и совпадающих с ним элементов в одних языках в препозиции (ср. препозитивные определенные артикли в хорезмийском и согдийском языках – из совпавших рефлексов относительного **ia-* и указательного **ai- : i-*), в других – в постпозиции (таким стал среднеперсидский постпозитивный артикль, вобравший в себя комплекс значений совпавших в нем элементов).

При этом если двойная возможность положения во фразе относительного местоимения **ia-* в древности явилась предпосылкой закрепления его рефлексов и в препозиции, и в постпозиции в разных языках, то в становлении круга значений и функций этих рефлексов немалую роль сыграл, кроме прочего, двойной круг значений **ia-* в древних индоевропейских диалектах [БЕНВЕНИСТ, 1974, 235]. Он предопределил продолжение

этой основы в конкретных индоевропейских языках не только в виде относительного элемента (или относительного местоимения), но и в виде указателя-конкретизатора – праобраза артикля. Артикль, вобравший в себя рефлексы древних дейктических основ, использовавшихся и в функции относительных элементов, мог стремиться к постпозиции в указанных иранских и балканских языках именно в силу тяготения одного из его составных компонентов – относительного элемента – к этому положению в предложении.

Вторая группа иранско-европейских схождений в грамматике может объясняться поздними типологическими совпадениями. Часть из них имеет единую, общую для данных языков содержательную базу, другая часть – результат чисто формального, структурного совпадения.

К случаям сходного развития на базе единства содержательной стороны языка относится, например, развитие форм у перфекта (или у причастных результативных конструкций) значения неочевидности, заглазости действия, под воздействием которого изменяется модальная парадигма глагола. Так, в таджикском языке эти значения развились на базе перфекта, выделившись затем в самостоятельную серию форм неочевидного, или аудитивного наклонения. Употребляя эти формы, говорящий тем самым подчеркивает, что он не является свидетелем действия, о котором говорит, а узнал о его совершении либо с чужих слов, либо путем догадки, логического вывода из обнаруженной им ситуации и т.д. (отсюда – употребительность этих форм в сказках, повествованиях и других текстах, передаваемых с чужих слов) [РАСТОРГУЕВА, КЕРИМОВА, 1964, 71-97]. Это явление аналогично до некоторой степени развитию особых аналитических форм, или конструкций, со значением неочевидности в литовском языке – также на базе старых причастных конструкций [*Грамматика литовского языка*, 1985, 215-217, 231-235; АМБРАЗАС, 1990, 227-228]. Такое развитие не задано генетически индоевропейской системой: оно отмечено и в некоторых тюркских языках, причем в виде различающихся по языкам типов таких конструкций (см., например, [ДМИТРИЕВ, 1940, 106; 1960, 50-51; ГАДЖИЕВА, 1966, 77; ПОКРОВСКАЯ, 1966, 123]); под влиянием тюркских языков очевидность/неочевидность стала выражаться также в македонском языке [БЕНВЕНИСТ, 1974, 223-224].

Содержательное основание этого явления хорошо прослеживается на материале таджикского языка: обозначение перфектом (или причастными конструкциями) результативного действия в прошлом (и состояния как результата в настоящем этого прошедшего действия) перерастает в обозначение умозаключения на основании результата о том, что это действие имело место в прошлом. Отсюда – обозначение логического вывода

из ситуации, вывода из чьего-то рассказа, а также указание на пересказ чужих слов. Следует оговориться, что сходные оттенки значений встречаются и в других языках с развитыми формами перфекта (ср. англ. *I've lost my key* “я [оказывается] потерял мой ключ”). Отмечаются они и у перфектных форм в некоторых других иранских языках, особенно находящихся под влиянием таджикского, например, в памирских, однако выделение из них особых форм с модальным значением неочевидности встречается значительно реже.

К этой же группе изоглосс относится развитие форм будущего времени в некоторых иранских языках (включая осетинский) из модальных оборотов, состоявших ранее из основного глагола и вспомогательного глагола “хотеть” или основы с этим значением. Сходное построение форм футурума наблюдается в языках Балканского союза [SCHALLER, 1975, 152-155], в английском. Существенно при этом, что формальное размежевание презенса и футурума произошло не во всех иранских языках, а там, где оно состоялось, оно было весьма поздним. Об этом говорят различия как моделей форм будущего времени, так и этимологии образующих его элементов, в том числе различия в происхождении элементов со значением “хотеть”.

Так, в классическом персидском форма будущего времени состоит из личной формы глагола *x^vāh-* “хотеть” и полного или усеченного инфинитива основного смыслового глагола (*x^vāham kardān // kard* “хочу сделать” → “сделаю”); в продолжающих этот язык современных персидском, таджикском, дари используется усеченный инфинитив (типа тадж. *xoham kard* “сделаю”). Сходные формы с полным инфинитивом отмечаются в малых языках Ирана. В согдийском и хорезмийском языках форма будущего времени состоит из личной формы настоящего времени основного глагола и постпозитивной неизменяемой основы *-kām* – из древнего **kāmā-* “желание” (ср. хорезм, *'k'm-k'm* “сделаю”, *'ku-k'm* “сделаешь”). В осетинском языке личные формы будущего времени содержат суффикс *-zæp* (в ед. ч.) – *zæ* (во мн. ч.) из **čana-*, **čina-* “хотящий”, – включенный в личную форму основного глагола [АБАЕВ, 1965б, 11-12; БЕНВЕНИСТ, 1965, 87-89].

Поскольку даже в пределах иранского мира эти формы возникали в разных языках параллельно и независимо друг от друга (см. также [ОИТИИЯ, II, 407]), их становление тем более не было связано с появлением аналогичных форм в языках Европы. Это явно спонтанные параллельные пути развития временной системы глагола. При этом сам принцип обозначения действия в будущем через модальный оборот намерения или через модальные формы глагола имеет общее единое семантическое

начало: говоря о действии в будущем, мы выражаем свое намерение, надежду совершить действие, либо опасение, что действие совершится, и т.д., но не констатацию его совершения (констатировать мы можем только действие в прошлом или настоящем). Не случайно в древних иранских языках действие в будущем передавалось косвенными наклонениями, особенно часто конъюнктивом. Интересно, что и в некоторых неиндоевропейских языках формы будущего времени происходят из модальных оборотов или форм.

К числу совпадений в чисто структурном плане можно отнести некоторые сходные явления, возникавшие параллельно в отдельных индоевропейских языках Европы в ходе спонтанного развития сходных систем.

Например, характерен в этом плане процесс распространения рефлексов древних форм двойственного числа имен, выступавших первоначально в сочетаниях этих имен с числительным “два”, на сочетания с числительными “три” и выше. Результаты этого процесса отмечены в разных иранских языках (согдийском, ягнобском, пашто, осетинском) и в отдельных славянских (включая русский). При этом рефлексы разных древних падежных форм двойственного числа (номинатива в пашто, согдийском и генитива в осетинском, ягнобском) в одних языках представляют особую форму имени при числительном, в других совпадают с современными падежными формами единственного или множественного числа. Причина этого процесса чисто формальная – перестройка сочетаний имен с числительным “три” и выше по аналогии к сочетаниям с числительным “два” (подробнее об этом явлении см. [SIMS-WILLIAMS, 1979, 339-342; 1982, 68; MACKENZIE, 1987, 557]).

К чисто структурным явлениям относится и так называемая “антиципация”, т.е. как бы предваряющий повтор дополнений (реже – других именных членов предложения) в виде предшествующих местоимений или энклитик. Особенно характерно это явление для хорезмийского языка, которому свойственны целые цепочки “приклеивающихся” к личным глагольным формам энклитик и поствербов (в терминологии В. Б. Хеннинга – “наречий” и “послелогов”), при следовании за этим глаголом различных дополнений (ср. p'cnpdyw 'y wʒ fnknc “[он] вдел-ее-туда, нитку в-иголку”, h'vtn'hyd y' dʏd'm “[я] дал-ее-тебе (ту) дочь-мою”, knɔ'h 'y c't “[он] выкопал-его (тот) колодец” (подробнее: [HENNING, 1955; 1956; БОГОЛЮБОВ, 1962; 1965]).

Сходные конструкции встречаются в осетинском языке, где для них характерно использование неполноударных местоимений, причем в более свободной позиции по отношению к глаголу, чем в хорезмийском (ср.

Батрадз *æм* рагаёй маёсты уыд *сохъхъыр уаёйыгмаæ* “Батрадз на него давно был сердит, на кривого великана”) [АБАЕВ, 1962, 653-654]. Спорадически построения такого типа отмечаются и в других иранских языках. В языках Балканского союза эти конструкции (в балканистической литературе в отношении них часто используется термин “местоименная реприза”) получили весьма широкое распространение [SCHALLER, 1975, 161 и сл.; Цивьян, 1979, 171-172].

Развитие таких конструкций в хорезмийском, осетинском и в балканских языках происходило в относительно поздний период и независимо друг от друга. Причиной же их формирования, во всяком случае в данных иранских языках, могла послужить перестройка модели предложения с закреплением порядка его основных компонентов по типу SVO (где S – имя субъекта, V – глагол, O – имя объекта) в хорезмийском языке, SVO // SOV в осетинском, – при одновременном сворачивании древней падежной именной парадигмы. Сочетание этих двух процессов требовало, очевидно, компенсаторной конкретизации имен прямого и косвенного объекта и обстоятельств некими дополнительными элементами, употребляемыми в предложении прежде, чем эти имена. Интересно, что похожие на хорезмийские приглагольные элементы выявляются и в единичных индоарийских языках под воздействием аналогичных процессов. Не исключено сходное происхождение “местоименной репризы” в языках Балканского союза.

Наконец, часть общих грамматических характеристик имеет определенную ареальную приуроченность и может объясняться либо ранними контактами языков (и этносов) в прошлом, либо одинаковым воздействием и на некоторые иранские, и на отдельные индоевропейские языки Европы в древности со стороны субстрата. Последнее предположение тем более вероятно, что субстратное воздействие может проявляться значительно позднее того периода, в который оно осуществлялось; кроме того, оно может быть “многослойным”, когда язык А подвергается субстратному влиянию со стороны языка В, который сам, в свою очередь, усвоил определенные субстратные черты от более раннего языка С и т.д. (см. о субстрате в иранском языковом мире также [АБАЕВ, 1956; ЭДЕЛЬМАН, 1980]).

К таким ареальным явлениям относится связь превербов со значением перфективности в осетинском языке, о которой убедительно писал В. И. Абаев [АБАЕВ, 1962, 550-553; 1964; 1965а, 54-68], – связь, которая поддерживалась длительными и глубокими контактами предков осетин с носителями славянских языков и диалектов. Следует отметить попутно, что эта связанность перфективности с превербами в осетинском языке существенным образом повлияла на историю его глагольной системы, воспрепятствовав грамматикализации здесь новых форм вторичного пер-

фекта, в отличие от подавляющего большинства иранских языков, где такой вторичный перфект развился (в основном на базе вторичных причастий с исходом на *-ta-ka).

Определенная ареальная закономерность может быть усмотрена также в становлении и развитии некоторых микросинтаксических структур. Например, характерно в этом плане различное по ареалам предпочтительное построение разных модальных конструкций. Так, в таджикском языке, как и в других языках Средней Азии, в этих конструкциях основной смысловой глагол выступает обычно в форме инфинитива (например, *xondan mexoham* “я хочу прочесть”, букв. “прочесть хочу”), а в близкородственном ему персидском – в форме сослагательного наклонения (например, *mixâhâm bexânâm*, букв. “[я] хочу [чтобы я] прочел бы”). Примечательно, что персидская модель построения таких конструкций сходна с моделью их построения в балканских языках, где позиция инфинитива в системе вообще ущербна [SCHALLER, 1975, 156-158]; причем тот же тип характерен и для относительно поздно появившихся в регионе Балкан тюркских языков (для гагаузского языка и местных диалектов турецкого [Покровская, 1977, 215; 1978, 22-23, 91-117, 141-144]), хотя остальным тюркским языкам свойственно употребление в модальных оборотах с аналогичным значением имен действия.

Тем самым в данных иранских языках обоих регионов продолжают обе сосуществовавшие в древности модели модальных оборотов: а) с косвенными наклонениями, б) с инфинитивом основного глагола, хотя материальное воплощение их изменилось: древнеиранские косвенные наклонения были здесь утрачены, а форма инфинитива трансформирована. В результате выбор в таджикском языке модели инфинитивного оборота (но с инновационной формой инфинитива), а в персидском – оборота с личной формой косвенного наклонения (но с инновационным сослагательным наклонением) – являются свидетельствами не только продолжения одной из двух древних моделей (но не форм), но и их отбора в соответствии с ареальными тенденциями.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что изучение изоглосс, объединяющих различные иранские языки с различными же индоевропейскими языками Европы, начатое В. И. Абаевым, имеет свое будущее. Уже сейчас оно помогает уяснить соотношение некоторых внутренних и внешних факторов в истории развития индоевропейских языков разных ареалов. Однако оно ставит и ряд новых проблем перед исследователями, например, проблему древнейших контактов индоевропейцев с носителями других языков, проблему появления многих “балканизмов” в персидском языке и многие другие.

ЛИТЕРАТУРА

- АБАЕВ В. И. *Осетинский язык и фольклор*. I. М.-Л., 1949.
- АБАЕВ В. И. О языковом субстрате. – *Докл. и сообщ. ИЯз АН СССР*, IX. М., 1956.
- АБАЕВ В. И. *Грамматический очерк осетинского языка*. – *Осетинско-русский словарь*. Орджоникидзе, 1962.
- АБАЕВ В. И. Превербы и перфективность. – *Проблемы индоевропейского языкознания*. М., 1964.
- АБАЕВ В. И. *Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада*. М., 1965а.
- АБАЕВ В. И. Предисловие. – Э.БЕНВЕНИСТ. *Очерки по осетинскому языку*. М., 1965б.
- АМБРАЗАС В. *Сравнительный синтаксис причастий балтийских языков*. Вильнюс, 1990.
- БЕНВЕНИСТ Э. *Очерки по осетинскому языку*. М., 1965.
- БЕНВЕНИСТ Э. *Общая лингвистика*. М., 1974.
- БОГОЛЮБОВ М. Н. Личные местоимения в хорезмийском языке. – *Уч. зап. ЛГУ. Серия востоковедч. наук*, № 306, вып. 16. Л., 1962.
- БОГОЛЮБОВ М. Н. Пролептические конструкции в иранских языках. – *Филология и история зарубежной Азии и Африки. Тез. науч. конф.* Л., 1965.
- ГАДЖИЕВА Н.З. Азербайджанский язык. – *Языки народов СССР*. Т. II. М., 1966.
- Грамматика литовского языка*. Вильнюс, 1985.
- ДМИТРИЕВ Н.К. *Грамматика кумыкского языка*. М.-Л., 1940.
- ДМИТРИЕВ Н.К. *Турецкий язык*. М., 1960.
- КАУФМАН К.В. Некоторые вопросы истории согдийского языка, – *Труды ИЯз АН СССР*. VI. М., 1956.
- ЛИВШИЦ В.А., ХРОМОВ А.Л. Согдийский язык. – *Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки*. М., 1981.
- Опыт историко-типологического исследования иранских языков*. Т. I-II. М., 1975 (ОИТИЯ).
- ПИРЕЙКО Л.А. *Основные вопросы эргативности: на материале индоиранских языков*. М., 1968.
- ПОКРОВСКАЯ Л. А. Гагаузский язык. – *Языки народов СССР*, т. II. М., 1966.
- ПОКРОВСКАЯ Л. А. Развитие внутривидовых изменений в балкано-турецких диалектах под влиянием славянских языков. – *Altaica*. Helsinki, 1977.
- ПОКРОВСКАЯ Л. А. *Синтаксис гагаузского языка (в сравнительном освещении)*. М., 1978.
- РАСТОРГУЕВА В. С., КЕРИМОВА А. А. *Система таджикского глагола*. М., 1964.
- ЦИВЬЯН Т. В. *Синтаксическая структура Балканского языкового союза*. М., 1979.
- ЭДЕЛЬМАН Д. И. О конструкциях предложения в иранских языках. – *ВЯ*, 1974, № 1.
- ЭДЕЛЬМАН Д. И. К субстратному наследию Центральноазиатского языкового союза. – *ВЯ*, 1980, № 5.
- ЭДЕЛЬМАН Д.И. Еще раз об иранско-европейских изоглоссах. – *Изв. АН СССР. СЛЯ*. 1989, т. 48, № 4.

- ЭДЕЛЬМАН Д. И. *Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Морфология. Элементы синтаксиса*. М., 1990.
- EMMERICK R. E. *Saka Grammatical Studies*. L., 1968.
- HENNING W. B. The Structure of the Khwarezmian Verb. – *Asia Major*. L., 1955. New Series, Vol. V, pt 1.
- HENNING W. B. The Khwarezmian Language. – *Z. V. Togan'a Armağan*. Istanbul, 1956.
- MACKENZIE D. N. Pashto. – *The World's Major Languages*. L., 1987.
- PIREJKO L. A. On the genesis of the Ergative Construction in Indo-Iranian. – *Ergativity. Towards a Theory of Grammatical Relations*. L. etc., 1979.
- SCHALLER H. W. *Die Balkansprachen (Eine Einführung in die Balkanphilologie)*. Heidelberg, 1975.
- SIMS-WILLIAMS N. On the Plural and Dual in Sogdian. – *BSOAS*, 1979, Vol. 42, pt 2.
- SIMS-WILLIAMS N. The Double System of Nominal Inflexion in Sogdian. – *TPhS*, 1982.